

# ИСТОРИЯ У ИСТОРИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ

Статья Г. Гайсиновича

Это уже стало традицией: писатель пишет исторические романы, повести и рассказы, а историк их критикует. Мало исторических художественных произведений, которые удовлетворили бы научным требованиям историка. Пушкин и Кукольник, Загоскин и Мордовцев, А. Толстой и А. Толстой (один — автор „Князя Серебряного“, другой — наш современник, автор „Петра I“) — все они подвергались более или менее строгой, более или менее справедливой критике.

Скажем прямо, в этой критике многое объяснялось непониманием особенностей художественной литературы, стиранием граней между наукой и искусством. Такое непонимание обнаруживают порой и специалисты-литературоведы и литературные критики. Когда В. Перцов в связи с „Историей заводов“ выступил недавно на страницах „Литературной Газеты“ с положением о „стопроцентном историческом романе“, то защищал он явно неверный тезис. Исторический роман не может быть историческим на все сто процентов, а если он стопроцентно-исторический, то это не роман со всеми присущими этому виду литературы особенностями, резко отличающими его от научно-исторического произведения, с вымыслом, с выдуманными героями и ситуациями и т. д. Хуже с литературоведением. Когда историк литературы объясняет литературные явления прошлого из неверно понятых исторических особенностей эпохи, то тут никаких „оправдывающих“ обстоятельств нет.

Можно выставить такое печальное, но, думается, правильное положение: литературоведение, черпающее значительную часть своего материала из арсенала исторической науки, слишком часто отстает от последней. Литературоведение прибегает нередко к отжившим историческим теориям, к устаревшим взглядам. Здесь не только простое незнание. В неверных исторических теориях Переверзева и его школы не одно лишь невежество, а определенная политическая установка, в свое время получившая достаточно четкую квалификацию.

Что в литературоведении необходима особая тщательность в объяснении исторического материала — вряд ли нужно доказывать; что и в наши дни здесь далеко не все благополучно, мы увидим ниже на примере нескольких упражнений литературоведов на поприще истории России XVIII и первой половины XIX в.

Вообще говоря, литературе XVIII в. за последнее время везет чрезвычайно. Специальный № 9—10 „Литературного Наследства“, план издания Радищева, издание Пнина, издание Державина, сборник „Ирои-комическая поэма“, книга В. Шкловского „Чулков и Левшин“ — не исчерпывают списка работ, относящихся к XVIII в. Мы остановимся лишь на последних двух и разберем их общеисторические установки.

\* \*  
\*

В. Шкловский ставит перед собой задачу доказать, „что развитие России XVIII в. имело не ту последовательность, как развитие Англии“ (5). Задача столь же трудная, сколь и невыполнимая, ибо последовательность истории России при всех ее своеобразных особенностях — та же, что и Англии. Мысль об „особенной“ Руси имеет весьма порядочную давность, была в свое время ареной ожесточенных политических дебатов. Мысль эта давным давно отвергнута по причине ее неправильности и принци-

пиальной негодности. Как же В. Шкловский доказывает „обратную последовательность“? Впрочем он не столько доказывает, сколько заявляет. А заявляет он следующее:

„Классическое представление о том, что „товарность хозяйства все время возрастает“ (9) неправильно. В XVIII веке в России была развита промышленность, многолюдные города, влиятельное купечество, сильно дифференцированное крестьянство. Крепостническая Россия XVIII века была государством с большой торговлей и промышленностью... на почве этой торговли появилось крупное купечество. Рядом с ним работало и конкурировало торгующее крестьянство“ (28). „Что же произошло дальше?“ спрашивает В. Шкловский (17). И отвечает, что дальше, в первой половине XIX в., все пошло вспять: „Переход с XVIII века на XIX век это не только рост вывоза русского хлеба, но и упадок русской промышленности, исчезновение начавшего складываться городского населения“ (18).

И потом: „... в XVIII веке барщинное хозяйство на земле крупных помещиков не было преобладающей формой хозяйства... Крепостное хозяйство XIX века основывалось главным образом на барщине. XVIII век дает более пеструю картину“ (19). И опять: „... в конце XVIII века дворянин позволяет торговать своему крестьянину и еще чаще позволяет ему работать в городе. В начале XIX века крестьянин перестает приносить оброк. Тогда его сажают в деревне на барскую запашку“ (32).

В XVIII в. „намечалось два пути. Либо путь крушения, путь перестройки всей жизни, тот путь, по которому шла Франция. Либо путь прусский с сохранением дворянства“ (38).

В другом месте В. Шкловский называет оба пути иначе: „В XVIII веке шел спор о двух возможностях развития России... Первый путь развития России мы можем назвать „американским“... Была другая линия развития — „прусская“, с установкой на бюрократический способ развития, на сохранение феодальных отношений. В результате развитие пошло по этому пути“ (147).

Не будем искать у автора четкой терминологии. Для В. Шкловского что „американский“, что „французский“ путь — все равно. „американским“ он один из путей называет потому, что „шло широкое наступление к Тихому океану. Голиковы, Шелехов, Баранов мечтали о Калифорнии“ (147). Это уж очень элементарно, чисто географически и слишком далеко от того, что писал Ленин об американском пути, основанном на революционной ломке крепостнических пережитков, самодержавия, помещичьего землевладения, на снятии феодальных перегородок, мешавших капитализму, на буржуазно-демократической революции, перерастающей в революцию социалистическую. Стоит ли говорить о том, что в XVIII в. вопрос об „американском“ и „прусском“ пути не стоял. Оба эти пути суть варианты капиталистического развития, борьба их становится фактом, определяющим общественное развитие, когда сам капитализм становится фактом, когда буржуазные отношения производства уже пришли на смену феодализму. В XVIII же веке господствовал феодализм, капиталистические элементы в конце столетия только начали проникать в крепостническую толщу.

Давным давно отвергнут тот взгляд, что рассматривал XVIII в. с точки зрения борьбы двух путей капиталистического развития а Пугачевщину — как „раннюю буржуазную революцию“ (Меерсон). А Шкловский воскрешает эти никому не нужные отходы исторических „теорий“, далеко отстоящих от ленинского понимания русского исторического процесса.

Продолжим однако основную нить рассуждений В. Шкловского. Почему же первая половина XIX в. это эпоха упадка? Потому что, говорит автор, „Россия не принимала участия в промышленной революции“ (18), „перестроить ее на новую технику крестьянская Россия не могла“. В результате „регресс промышленности“ (235), „история первой половины XIX века — это история упадка страны“ (229), „разорилась страна“ (236), „XVII век по хозяйственному своему строю более схож с николаевской Россией, чем XVIII век“, „в XIX веке, в его начале, мы видим все элементы упадка. Элементы выпадения России из числа руководящих держав... Россия становится колониальной страной. Она ограждается от других стран пошлинами“ (247). Последние две фразы страдают таким непониманием элементарных вещей, таким внутренним проти-

воречием, что диву даешься, как они вышли из-под пера исследователя! Россия — колониальная страна и в то же время ограждается пошлинами. Автору даже неизвестно, что одна из особенностей колониальной страны в том и состоит, что она пошлинами не ограждена и открыта для метрополии. Кто же был метрополией России? Вряд ли Шкловский ответит на этот вопрос. В. Шкловскому видимо неизвестно, что взгляд на Россию как на страну колониальную в корне неверен и служил обоснованием теории „перманентной революции“ в троцкистском ее извращении, отрицавшем внутренние силы социалистической революции и возможность победоносного строительства социализма в России. Но это попутно. Центральная же мысль В. Шкловского заключается в том, что XIX в. представляет собой упадок по сравнению с веком XVIII, что страна аграризировалась; вместо стимулировавшего товарные отношения денежного оброка возобладала барщина, города пали, фабрики и заводы находились в состоянии кризиса, Россия превратилась в колонию.

Последовательность, что и говорить, не такая, как в Англии, но и с историей России эта новоявленная „последовательность“ ничего общего не имеет. Неверно, что „хозяйство XVIII века большею частью не было натуральным“ (20). В XVIII в. Россия была феодальной страной, а одним из основных признаков феодализма-крепостничества, как это указал Ленин, является натуральное хозяйство. Неверно, что „систему натурального хозяйства мы встречаем позднее и в XIX веке“ (20). Делаемая В. Шкловским ссылка на деревню Обломовку, описанную Гончаровым, как на „типичный образец натурального хозяйства“ первой половины XIX в. явно недостаточна. Прав Шкловский — „здесь нужен конкретный анализ“. А конкретный анализ говорит как раз о том что в первые десятилетия XIX столетия натуральное хозяйство под влиянием промышленного переворота в Европе, под влиянием роста общественного разделения труда и первых шагов капитализма все больше уступает дорогу хозяйству товарному. Впрочем В. Шкловский ссылается на Ленина в подкрепление своей не-ленинской теории. Он приводит классическую ленинскую характеристику барщинной системы, одним из основных признаков которой, по Ленину, является натуральное хозяйство, и утверждает что эта характеристика относится только к эпохе перед реформой 1861 г. В угоду своей „теории“, В. Шкловский сужает общий ленинский анализ барщины, относящийся совершенно очевидно, ко всей эпохе феодализма, и приурочивает его лишь ко времени перед „крестьянской“ реформой. Между тем Ленин десятилетия перед 1861 г. характеризует совершенно иначе, чем это хотелось бы Шкловскому: „производство хлеба помещиками на продажу, особенно развившееся в последнее время существования крепостного права, было уже предвестником распада старого режима“. Как видим, Ленин описывает предреформенный период совсем не так, как это хотелось бы В. Шкловскому.

\* \* \*

В чем корень ошибки В. Шкловского, приведшей его к совершенно превратному толкованию исторической последовательности? „Надо взять не примеры и не отдельные данные (при громадной сложности явлений общественной жизни можно всегда подыскать любое количество примеров или отдельных данных в подтверждение любого положения), а непременно совокупность данных об основах хоз. жизни“, писал Ленин (т. XIX, стр. 74).

В. Шкловский взял одну категорию фактов и обобщил ее, отнес процессы, характерные для одного ряда явлений, ко всей совокупности явлений. Картина получилась односторонней, неверной. В действительности картина развития России в описанную нашим автором эпоху выглядит совсем иначе.

В первой половине XIX в. в России начинается вызревание капиталистических отношений. При всей слабости и подспудности этого процесса, развивающегося в условиях господства крепостничества, он наложил свою печать на все явления эпохи. Вне этого непонятны декабристы и Пушкин, непонятно общественное движение 40—50-х годов, славянофилы и западники, Герцен и Чернышевский, непонятна внешняя и внутренняя

политика самодержавия: протекционистский тариф 1822 г. и завоевание Кавказа, учреждение Мануфактурного совета и основание Технологического института в Петербурге.

И наконец, откуда пришла буржуазная, при всей своей ничтожности, реформа 1861 г., если капитализм не начал заявлять свой голос в предшествующие десятилетия? Все это настолько элементарно, что нет нужды вдаваться в подробные объяснения. Но если капитализм рос, то ясно, что первая половина прошлого столетия являет собой шаг вперед по сравнению с XVIII столетием, а не наоборот. Промышленность падала — говорит Шкловский. Неверно. Общий итог промышленного развития был поступательный. Это видно из следующей таблицы:

Годы	Количество предприятий	Число рабочих
1804	2 423	95 202
1814	3 731	169 530
1825	5 261	210 568
1850	6 472	352 500

Однако проникновение капитализма протекало неравномерно и вызывало неодинаковые результаты. При общем поступательном ходе отдельные отрасли могли испытывать застой и даже упадок. Это именно те отрасли промышленности, которые были основаны на крепостном труде и на рутинной технике, унаследованной от XVIII в. Такова полотняная промышленность, таков горнозаводский Урал. Первая пала потому, что пароходный транспорт сократил потребность в парусном полотне, второй — потому, что не мог устоять перед более совершенной английской железодельной техникой, улучшившей благодаря промышленному перевороту методы производства.

Нельзя обобщать упадок полотняной и металлургической индустрии на все отрасли промышленности, как это делает наш незадачливый — при всей своей „оригинальности“ — автор.

Упадок в одной отрасли перекрывался ростом другой, в первую очередь хлопчатобумажной. Последняя развивалась бурными темпами и, что самое важное — развивалась как промышленность капиталистическая, основанная на машинной технике, на вольнонаемном труде. Отсюда, из роста капитализма, и рост городов нового типа, центров торговли и промышленности, городов, пришедших на смену городам XVIII в., представлявшим собой зачастую больше военно-бюрократические, чем экономические центры. Отсюда и углубление дифференциации крестьянства, выделявшего из своей среды новые классы капиталистического общества — буржуазию и пролетариат. Эти новые классы в корне отличаются от купцов и промышленников, от рабочих людей и приписных крестьян XVIII в., представлявших собой плоть от плоти и кость от кости феодального общества, стоявших на почве крепостных отношений. Поэтому мы можем с полным основанием утверждать, что 40-е и 50-е годы XIX столетия, когда намеченные процессы развивались особенно быстро, были годами первой стадии российского промышленного переворота.

Только с точки зрения промышленного переворота мы поймем целый ряд явлений, для которых В. Шкловский подыскал свои доморощенные и весьма неудачные объяснения.

Причину „неудачности оброчной системы“ В. Шкловский усматривает в том, что „заработная плата упала вместе с ослаблением обрабатывающей промышленности, вместе с падением фабрик и заводов“ (234). Очевидно автор предполагает, что регресс промышленности вызвал отлив оброчных крестьян с фабрик и заводов и как результат — понижение их оброчной платежеспособности. Но мы видим, что промышленность не пала, значит отпадает объяснение, даваемое нашим историком литературы. Зарплата пала в хлопчатобумажной промышленности, т. е. в том, что развивалось всего быстрее. Зарплата пала не вследствие отлива рабочих, а наоборот — вследствие их массового прилива, вследствие увеличившегося применения женского и детского труда.

Мы видим тут то же самое понижение жизненного уровня рабочих в связи с промышленным переворотом, какое установили Маркс и Энгельс для Англии.

Промышленный переворот объясняет также взаимоотношения фабрики и кустарной избы. В свое время Туган-Барановский совершенно неправильно толковал эти взаимоотношения, говоря, что в России, не в пример Западной Европе, кустарь победил фабрику.

В. Шкловский полностью соглашается с мнением Тугана-Барановского, сожалеет, что у последнего „объяснения этому явлению нет“ (238) и придумывает сам объяснение.

„Это явление, — пишет Шкловский, — связано с регрессом промышленности. Заводы оказались нежизнеспособными, благодаря неблагоприятному положению России на международном рынке. Некоторые навыки, которые остались от заводов, смогли удвоить, перейдя в кустарную избы, сузившиеся потребности страны“ (235). Напрасно трудились, т. Шкловский! Вы пытались объяснить неверно истолкованные Туган-Барановским факты. В известной XIII главе I тома „Капитала“ Маркс показал, что уничтожение „кустаря“ вовсе не непременно следствие первых стадий промышленного переворота. „Если машина, — пишет он, — овладевает предварительными или промежуточными ступенями производства“, то вместе с материалом труда увеличивается и спрос на труд в тех отраслях труда, которые ведутся еще ремесленным или мануфактурным способом и в которые поступает машинный фабрикат. Например машинное прядение доставляло пряжу так дешево и в таком изобилии, что ручные ткачи без всякого увеличения затрат сначала могли работать полное время“. И дальше Маркс, проводя различие между современной и старинной домашней промышленностью, указывает, что „она (домашняя промышленность эпохи капитализма.—А. Г.) превратилась во внешнее отделение фабрики, мануфактуры или торгового заведения. Кроме фабричных рабочих... капитал... приводит в движение целую армию домашних рабочих, рассеянных в больших городах и деревнях“.

Итак, машина не сразу вытесняет „кустаря“, она может даже способствовать его росту, но она подчиняет домашнюю промышленность капиталу.

Факты, приведенные Туган-Барановским, имели место, но говорят они не о „победе“ домашней промышленности над мануфактурой, а о том, что последняя в борьбе с машинной фабрикой пытается удержаться путем эксплуатации „кустарных светелок“, которые насадила сама мануфактура, как свои внешние отделения. Происходит таким образом превращение одного типа мануфактуры в другой: мануфактуры централизованной в „рассеянную“, децентрализованную.

Некоторый рост домашней промышленности мог иметь место также и потому, что, как это показал Маркс, машина не сразу овладевает всеми ступенями производственного процесса; до поры до времени машинной фабрике выгодно ряд операций переложить на плечи „кустаря“. В том и в другом случае мы имеем не победу мелкого производства над крупным, а подчинение первого последнему. И связано это явление вовсе не с „регрессом промышленности“, как полагает Шкловский, а с ее прогрессом с первой стадией все того же промышленного переворота.

\* \* \*

Как обстоит дело с другой стороны устанавливаемого В. Шкловским регресса хозяйства России в первой половине XIX в. Как помним, показателем этого регресса является господство барщины в десятилетия перед реформой, в то время как в XVIII в. преобладающей формой эксплуатации был якобы оброк. И в этом отношении наш избрательный автор неоригинален и повторяет... Петра Струве. Преемственность не лестная, но таков факт. Приведем несколько цитат из Струве: „Денежно-оброкная система энергично развивалась во все продолжение XVIII века“ (П. Струве, «Крепостное хозяйство» 1913, стр. 34). „Во второй половине XVIII в. и в первой четверти XIX в. эти декламации крепостных моралистов... служат идеологическим выражением подготовляющейся в среде дворянского класса сознательной реакции в пользу барщинного режима“. В XIX в. „русский дворянин оседает на землю и, становясь сельскохозяйственным предпринимателем, в значительной мере вместе с собой осаждает и крестьян“. Помещичий класс в целом поступал в смысле прямо противоположном образу действий Онегина:

оброчные крестьяне сажались на барщину“, И наконец — „оброк в сфере земледелия бесспорно пасовал перед барщиной“.

Теперь ясно, чьи взгляды унаследовал В. Шкловский в этом вопросе. Разница только та, что у Струве преобладание барщины служит показателем прогресса помещичьего хозяйства, у Шкловского же — свидетельством регресса. Но оценка значения факта в данном случае не играет роли, ибо самый факт вовсе не имел того общего характера, какой ему приписывается обоими авторами. Дело в том, что формы приспособления помещичьего сельского хозяйства к возникающим капиталистическим отношениям не всюду были одинаковыми и не везде приводили к одним и тем же результатам. В иных местах помещики действительно приспособляються к выросшим рыночным возможностям путем нажима на барщинный пресс. Но барщина в дальнейшем своем развитии приводила к обезземелению крестьян, к превращению их в дворовых людей и „месячников“. Так неограниченное увеличение барщины приводило к отказу от нее, ибо дворовый человек не похож на отбывающего барщинные повинности крестьянина. Последний наделен землей, орудиями производства, первый же не имеет ни того, ни другого.

Другая сторона вопроса заключается в том, что для многих помещиков уже тогда была непроницаемость, нерациональность барщины. Денежные расчеты, производившиеся некоторыми помещиками и доказывавшие выгодность вольнонаемного труда перед обязанным, имели под собою вполне реальную почву и свидетельствовали о поисках иных форм эксплуатации, приближающихся к капиталистическим. Недаром уже в это время наблюдается применение батрацкого труда и чисто крепостнические методы эволюционируют в направлении к капитализму.

Что касается оброка, то вряд ли он уменьшился в своем значении в XIX в. В тех районах, где земледелие было малопродуктивным, где распространена была городская и деревенская промышленность, помещик предпочитал выжимать из крестьян прибавочный труд и продукт в форме оброка. А невыгодность оброка объясняется вовсе не упадком промышленности и соответственным отливом оброчных крестьян из индустрии в сельское хозяйство, как думает В. Шкловский, а тем, что перед лицом усложнившейся экономики, вступившей на путь капитализма, такой чисто феодальный прием эксплуатации, как оброк, не мог не предстать как некая устарелая форма.

\* \* \*

Совсем недалеко от В. Шкловского ушел В. Десницкий. Во вступительной статье к сборнику „Ирои-комическая поэма“, вышедшем в „Библиотеке Поэта“, Десницкий утверждает: „Россия второй половины XVIII века — страна с значительными предпосылками к развитию капиталистической промышленности“ (18). В такой общей форме с этим утверждением можно согласиться. Но когда Десницкий переходит к разъяснению своего мнения, то он утрирует всю картину развития России.

„Новое в истории России XVIII века — это... новое в производстве и производственных отношениях“ (24). Фраза, заставляющая насторожиться. Так оно и есть. Десницкий приводит цифры развития промышленности XVIII в. и русского промышленного вывоза и изображает все отношения так, как будто в России уже складывалась буржуазия и пролетариат, как будто в это время уже оформилась и определилась борьба между капитализмом и крепостничеством. Недаром и отнюдь не в условном смысле Десницкий употребляет для XVIII столетия такие термины, как „торгово-промышленная буржуазия“, „фабрично-заводской пролетариат“, „крестьянская революция“, „третье сословие“. Особенно часто он прибегает к последнему понятию, употребляя его по различным поводам.

Русское „третье сословие“, говорит Десницкий, аналогично французскому. Историческая миссия русского третьего сословия аналогична исторической миссии французского. В одном месте ситуация перед Первой французской революцией прямо сравнивается с тем, что было в России XVIII в. (33). В русское „третье сословие“, по Десницкому, совсем как во французское, входят „крупная торгово-промышленная буржуазия, городская мелкая буржуазия и служилая интеллигенция, городское и сельское белое духо-

венство, свободное крестьянство, фабрично-заводской и ремесленный пролетариат" (17). По классовым своим устремлениям сюда же примыкает и крепостное крестьянство. И вот это-то „третье сословие“ и крепостная масса, говорит Десницкий, стояли „в целом и в отдельных своих классовых группах в тех или иных формах и степенях“ в противоречии с крепостным строем и крепостническим дворянством. „Буржуазия“ XVIII в. и крепостная масса заодно выступали против помещиков-крепостников. Для Десницкого в этом нет ничего удивительного. Раз в XVIII в. была буржуазия (без кавычек) на манер французской, что же удивительного в том, что она выступала, совсем по-французски, против феодализма?

• На самом же деле мысль эта воистину чудовищна. Она обнаруживает абсолютное непонимание азбучных истин марксизма. Десницкий увидел заводскую трубу, привел вывоз железа — значит был капитализм, значит была буржуазия и пролетариат.

Нам очень не хотелось бы напоминать несколько тривиальных положений, но придется. Не всякое, даже крупное, промышленное предприятие есть фабрика в капиталистическом смысле этого понятия; не всякий владелец промышленного заведения есть буржуа в точном обозначении этого термина; не всякий работающий в промышленном предприятии есть пролетарий.

Уральская промышленность XVIII в. капиталистической не была, ибо работали в ней крепостные, лично несвободные крестьяне, еще не ставшие пролетариями. Она не была капиталистической еще и потому, что не имела капиталистической техники. Владельцы уральских заводов и других крепостных или полукрепостных предприятий не были представителями буржуазии. То же самое относится и к упоминаемой Десницким мануфактуре Затрапезного в Ярославле и ко многим другим предприятиям той эпохи. „Буржуазия“ XVIII в. стояла вполне на почве феодализма, она была органическим продуктом крепостной России, а не чужеродным телом, не классовым врагом дворянства. „Буржуазия“ XVIII в., та, что эксплуатировала труд приписных, посессионных или отпущенных на оброк крестьян, если и выступала против крепостников, то не во имя другого строя отношений, не под флагом капитализма, а за равноправное место в феодальном обществе, за дележ с дворянством права и возможности эксплуатации крепостного труда.

Это особенно ярко видно на примере екатерининской комиссии по составлению проекта нового уложения. В. Десницкий исполнен всяческого уважения к этой комиссии. Неудивительно! Ведь он свалил в одну кучу антифеодального „третьего сословия“ „буржуазию“, „пролетариат“ и крепостное крестьянство, те самые „пролетариат“ и крестьянство, которые выступили против „буржуазии“ Урала в великой крестьянской войне XVIII в. — Пугачевщине. В. Десницкий говорит о „третьесословных настроениях“, „нашедших себе выражение и в комиссии 1767 г., и в Пугачевском восстании“ (65). Для него равны екатерининская комиссия с ее спорами между дворянскими и купеческими депутатами о том, кому иметь монопольное право на владение и эксплуатацию крепостных „душ“, и Пугачевщина, пытавшаяся уничтожить всякий крепостной гнет. Это превращение „буржуазии“ XVIII в. в революционную силу имеет вполне определенный политический смысл и вызывает вполне основательные ассоциации с меньшевистской оценкой роли русской буржуазии как движущего класса революции.

Недаром В. Десницкий полагает, что „Рылеев, певец крестьянской неволи, явился и певцом буржуазной хищнической эксплуатации Сибири“ (39), превращая тем самым героев „первоначального накопления“, неслыханного грабежа колонии в поборников крестьянской свободы. И напрасно В. Десницкий бросает направо и налево обвинения литературоведам в буржуазном подходе, в меньшевизме. „А судьи — кто?“ Во всяком случае не Десницкому, совершенно извратившему ленинское учение о русском феодализме и марксистское понимание XVIII в., судить и приклеивать политические ярлыки.

В своем увлечении „третьим сословием“ В. Десницкий договаривается до того, что „сама Екатерина II и как литератор („Всякая Всячина“), и как политический деятель (комиссия 1767 г., Наказ) пробовала быть, в известной мере, выразительницей этих третьесословных устремлений“ (65). Что касается комиссии 1767 г., то ее истинную крепостническую суть мы уже знаем. То же самое надо сказать о Наказе. Идеализируя

его, В. Десницкий следует взглядам буржуазных историков, например С. М. Соловьева. Как можно этот типично дворянский документ, шедший в известной мере по линии устремлений дворянской, среднепомещичьей оппозиции, выдавать за документ „третьесословного“ порядка — это секрет В. Десницкого.

Но и этого мало! В назойливом стремлении прикрасить XVIII в. наш автор договаривается до следующего откровения: „И только советская власть с ее лозунгом „догнать и перегнать“ поднимает Урал с его громадными естественными богатствами на то место, предвестия которого были даны в развитии уральской промышленности конца XVIII века“ (18). „Предвестия“ социалистического Урала наших дней в развитии крепостного Урала XVIII в. — что может быть чудовищнее этой мысли, столь нелепой, что и опровергать ее не стоит.

Полное единодушие между Шкловским и Десницким наблюдается и в понимании первой половины XIX в. В. Шкловский берется прямо опровергать М. Н. Покровского, В. Десницкий выражается деликатнее: „он (М. Н. Покровский — А. Г.) мог бы сказать больше“. Что же должен был, по В. Десницкому, сказать М. Н. Покровский? А вот что: „Только быстрый ход великого промышленного переворота на Западе... отбросил феодальную, крепостную Россию на позиции страны, вывозящей преимущественно хлеб, произведенный в помещичьих латифундиях. Нам кажется, что не только крепостное право задерживало развитие русского капитализма; нам кажется, что пар, новый мощный двигатель в промышленности, каменный уголь, пришедший на смену древесному топливу, отодвинули например на задний план уральскую железодельную промышленность в XIX веке“ (18).

Конечно английский паровой двигатель отодвинул назад уральскую железодельную промышленность. Но отодвинул он ее потому, что Урал не мог завести у себя паровых двигателей, а не мог он сделать этого потому, что крепостное право стояло поперек пути техническому прогрессу. Таким образом вопрос стоит не так, как он поставлен В. Десницким, что, мол, не только крепостное право отодвинуло Урал назад, но и английская передовая техника, а английской технике удалось задержать развитие Урала в виду господства на нем крепостных форм эксплуатации, а значит и технической рутинности. Все это вещи друг с другом связанные, а не механически дополняющие.

В. Десницкий приводит цифры, показывающие, что если в XVIII в. вывозились преимущественно „товары, требующие промышленной переработки“ (20) и предметы обрабатывающей промышленности, то в первой половине XIX в. вывоз этих товаров упал.

Факт бесспорный, но он не говорит о том, что в XIX в. Россия пошла всяцать. Во-первых, методологически и исторически неверно в основу экономической характеристики страны класть торговлю. Надо отправляться от производства, а не от обращения. Тут-то мы и увидим, что если крепостная, в первую очередь уральская крепостная, промышленность впадала в полосу длительного застоя, то очень быстро развивались новые отрасли капиталистической индустрии, в первую очередь — хлопчатобумажной. Это говорит о возникновении в стране в первой половине XIX в. промышленного капитализма, чего нельзя сказать о XVIII столетии.

Во-вторых, почему В. Десницкий берет только вывоз? А где же ввоз? Если бы он обратился к ввозу, то увидел бы, что именно в первой половине XIX в., особенно с 40-х годов, когда в Англии отменен был запрет на вывоз прядильных машин, растет ввоз машин в Россию, что тоже является несомненным показателем прогресса.

В-третьих, картину экспорта для первой половины XIX в. Десницкий тоже дал односторонне. Если выросло значение хлебного вывоза в Европу, то одновременно увеличился экспорт промышленных товаров на Восток. И если своим лицом, обращенным на Запад, Россия была страной аграрной, то она выступала в известной мере как страна индустриальная по отношению к Востоку. Русские хлопчатобумажные ткани получили широкое хождение на восточных рынках. Здесь один из мотивов Персидской и Турецкой войн второй половины 20-х годов XIX в. Русский товар успешно выдерживал конкуренцию английского в Персии, Турции, на Кавказе. Здесь один из мотивов русско-английских столкновений в Персии, которые сыграли не последнюю роль в трагической гибели Грибоедова.

Несомненно, что зарождение промышленного капитализма относится к десятилетиям перед реформой 1861 г., а не к XVIII в. В связи с этим происходит ряд изменений в роли и значении отдельных отраслей промышленности, в связи с этим же меняется несколько расстановка классовых сил. Черты новой капиталистической эпохи оказывают свое влияние на всю сферу общественных и политических отношений, вплоть до высоких областей идеологии.

Больше того: 40-е и 50-е годы в России проходят под знаком начинающегося „промышленного переворота“. Именно в это время намечается самый существенный момент „промышленного переворота“ — переход от мануфактуры к фабрике. Об этом говорят хотя бы такие факты: в 1841—1845 гг. ежегодно ввозилось машин на 668 тыс. руб., в 1846—1850 гг. — на 168 тыс. руб., в 1851—1855 гг. — на 2 103 тыс. руб., в 1856—1860 гг. — на 7 513 тыс. руб. В 1847—1848 гг. в Московской губ. было 67 паровых машин, в 1858 г. — 152. Характерно, что первая паровая машина появилась на Урале еще в XVII в., но при застойности уральской техники нашла применение и вошла в обиход позднее. Особенно быстро росло бумагопрядильное производство. В 1843 г. в России было 35 тыс. бумагопрядильных веретен, в 1853 г. их насчитывалось уже миллион.

В 1851 г. Энгельс писал Марксу: „Русские теперь уже не получают из Англии ни одного аршина бумази, очень мало готовых хлопчатобумажных изделий, очень много сырого хлопка: 2000—3000 кип в неделю и несмотря на то, что пошлина на пряжу понижена с 7 и до 5 пенсов за фунт, ежегодно все еще возникают новые прядильни. Николай очевидно начинает бояться этой индустрии и хочет еще больше понизить эту пошлину, но так как в этом деле заинтересовано все его богатое дворянство и вся буржуазия, то, если он будет на этом настаивать, дело может принять серьезный оборот“ (Маркс и Энгельс. Собр. соч., т. XXI, стр. 274).

Английский промышленный переворот не отбросил Россию назад по сравнению с XVIII в., как думают В. Шкловский и В. Десницкий. Англия пыталась это сделать: она хотела превратить Россию в свой аграрный придаток, в колонию. Но это ей не удалось. Отставая от Англии, Россия все же не стала ее колонией. В России, в значительной мере именно благодаря английскому промышленному перевороту, начинает расти своя капиталистическая фабрика в первой половине XIX в.

\* \* \*

Из сказанного не следует, что можно чрезмерно упрощать экономические и общественные отношения XVIII в., представлять их как сплошь феодальные, не видеть в феодально-крепостной России антагонистических элементов. „Экономическая структура капиталистического общества выросла из экономической структуры феодального общества, — писал Маркс. — Разложение последнего освободило элементы первого“. Это значит, что внутри феодализма были известные проблески капиталистических отношений. Очередная задача марксистской исторической науки состоит в том, чтобы изучить роль тех слоев и групп, тех хозяйственных явлений, которые боролись с феодализмом, хотя и поражены были им. От дворянских дворцовых переворотов, интересовавших буржуазных историков, марксистская историография обращается к изучению крестьянских и городских движений. От истории помещиков должен быть сделан и уже делается поворот к изучению истории крестьянства и городского плебса, городских низов.

Аналогичная тенденция наблюдается и в литературоведении. От дворянской литературы, от произведений феодальных верхов литературная наука обращается к изучению литературы низов феодального общества. Поэтому нужно всячески приветствовать активизацию интереса именно к „низовой“, литературной линии, выразившегося в выходе указанных в начале настоящей статьи книг и сборников. Только осмысливание этих литературных процессов находится на очень низком уровне. Историки, литераторы, подобные В. Шкловскому и В. Десницкому, находятся во власти собственных весьма неудачных домыслов, находящихся в противоречии с тем, что прочно завоевано марксистско-ленинской исторической наукой.